



Предисловие

Книга эта — вторая моя авантюра. Первой была «Сумма технологии». Ведь это — опыты «общей теории всего», как выразился один из моих близких друзей. Два опыта, или два покушения — что одно и то же, — создать такую теорию. В этом и состоит авантюризм обеих книг. Потому что «Сумма» не столько берет в качестве своего предмета корректно очерченную технологию саму по себе, сколько дает относительно целостную позицию, с которой можно было бы подойти к этому «всему». А в данной книге такая позиция намечена по отношению к литературным произведениям.

Так что необходимая предпосылка любого корректного исследования — обособление познаваемого объекта — по сути соблюдена, но в обеих книгах (отвлекаясь от их различий) не удалось удержать этого обособления. Проявилась «трансценденция» — постоянный выход за пределы темы, — и сказалась она при написании данной книги в том, что никак не удавалось отчетливо выделить части и главы. Книга не хотела замыкаться в них наподобие того, как это делается в исследовании строго на одну тему. Ибо я не находил резких границ общего характера вроде такой, которая отделяет анатомию от физиологии. Анатом, описывая, скажем, легкие, не вторгается на территорию физиолога, а физиолог ему, в свою очередь, не мешает. Буду держать под рукой это сравнение, потому что оно еще пригодится.

Вместо того чтобы складывать раздел за разделом в нечто цельное, как дом из кирпичей (способ внутренне комичный и даже раздражающий), я стал писать одно за другим как бы вступления: социологическое, теоретико-информационное, струк-

туралистское, логическое — и так далее. Но и эти «вступления» с неизбежностью и тягостно для меня начинали переходить друг в друга. Если я тогда и забросил на несколько лет работу над этим «Вступлением вступления» в теорию литературы, то это из-за того, что слишком расстроил меня самый вид толстого тома, в котором все только начинается, предвещает, открывает — и ничто не замыкает и не заканчивает. Даже ввести простую имитацию разграничений путем предварительных классификаций — даже это было еще неосуществимее, чем в «Сумме», и такие классификации (и это столь же меня огорчало) были бы еще более жесткими. Ибо, насколько мне известно, никто еще не сопоставлял технической эволюции с биологической, а потому в «Сумме» у меня по меньшей мере совесть была спокойна в том отношении, что я не топчу чужих цветов и не ввожу своих уставов в уже густонаселенную область. Напротив, такую область, как литературоведение, трудно назвать пустыней или необитаемым островом. Нельзя было не учесть классических литературоведческих трудов или просто обойти их молчанием. Физикалистский метод — безотносительно к тому хорошему, что о нем можно сказать — всегда ведет себя в такого рода исследованиях отчасти наподобие танка: никого и ничего не щадит на своем пути. Но водитель этого танка не может оправдывать себя одной лишь ссылкой на тупость своей машины: слишком ясно, что танк-то его нематериален.

Литература относится к таким сферам человеческой деятельности, исследование которых является одновременно и маргинальным, и необъятным, потому что теория литературы тесно связана с биологией и затем психологией автора и читателя, с их же социологией, с теорией организации и информации, с эстетикой, теорией познания, культурной антропологией и так далее. Можно, таким образом, пойти по одному из двух путей: либо по научному, или рациональному, с самого начала ограничившись только тем, что относится к теории вопроса *sensu stricto*¹, а по поводу всех попутно возникающих проблем просто отсылая к соответствующим специальным наукам. Либо же по иррациональному, пытаюсь все, что есть в литературе и что с ней связано, постичь из первых рук и вместить в одну книгу и соответственно в одного человека: того, который ее пишет.

¹ в строгом (узком) смысле (*лат.*). — *Примеч. пер.*

Науки следуют по пути рациональному. Это можно видеть из того, что они «всё» поделили между собой, и ни одна не пытается сама по себе объять «всё». Не следует, например, в анатомии переходить от того, что кости служат опорой для тела, к тому, что кость может служить орудием труда и т.п. Хотя науки это не гиены, но все же кости-то растащили по своим территориям — и вот, соответственно правилам каждой из них, для анатомии «голень» — не тот же самый объект, что для антрополога, а для антрополога — не тот, что для генетика. Правда и то, что молодой врач, начиная мыслить самостоятельно, удивляется, как, собственно, получается, что анатомия говорит о человеке языком столь отличным от физиологии и что та и другая усматривают в человеке разные качественные области: для анатома кость, мышцы, кровеносные сосуды с их качествами — темы для отдельных описаний, а для физиолога костная структура без мышечной не обладает автономией. Так что обе эти науки занимаются нетождественными структурными аспектами организма как системы. Свой конкретный способ структурирования биология человеческого организма обрела не сразу. Она постигала его структуры не в порядке их «объективной важности», но в порядке возрастающей трудности рассматривать их изолированно. Если человека расчленяют и готовят — для исследования, то есть в целях эпистемологических, а не кулинарных, — то легче всего в нем обнаружить прежде всего скелет. Если проявить достаточное терпение, то в конце концов скелет обнаружится и «сам». Именно его с самых древнейших времен прежде всего усматривали и как пример телесной структуры, так что даже и способы его изображения в научных книгах за века успели измениться. То, как сейчас ассистент на лекции представляет смонтированный скелет «на всеобщее обозрение», это такая же весьма относительная мода, иначе — конвенция, как и то, что когда-то в научных книгах скелетам придавали позы достойные или меланхолические, а то и заставляли их зловеще скакать, как если бы их сфотографировали во время лихого танца. Такое разнообразие представлений происходит оттого, что скелет человека был известен с глубокой древности и в долгой диахронии развития остеологии просто успели несколько раз сменить друг друга разнообразные моды и даже стили восприятия скелета учеными. Напротив, сосудистые и нервные структуры так долго не распознавались

в своей отдельности от прочих — так долго не было даже известно, как вены и артерии связаны с сердцем, — что когда наконец дело дошло до «разверстывания» всех этих объектов по отдельным дисциплинам, быстро установился единый способ изображать кровеносную, а потом и нервную систему.

Итак, мы обратили внимание на разницу между содержанием, которое освоено наукой, и стилем, или — что то же — модой внешнего представления этой науки. Но далеко не всегда дело обстоит так, как в анатомии, где стиль не препятствует познанию фактов, а факты не нарушают стиля.

Самое трудное было открыть структуру мозга, что явствует из того, что она нам и поныне как следует неизвестна. Сначала в остеологии, потом в миологии, еще несколько позднее — в спланхнологии¹ удалось взаимно сопоставить обнаруженные анатомические и функциональные структуры. Конечно, для скелета такое взаимосопоставляющее объединение, как кажется, довольно тривиально, но для мозга это уже не совсем так, поскольку оно даже и сейчас не реализовано. Ведь и тот внутренний мозговой ландшафт, который медицина демонстрирует своим студентам, когда они учат анатомию, — ведь и этот полный красивых, будоражащих воображение названий («морской конек», «четырёххолмие», «желудочки», «Сильвиев акведук», «миндалевидное ядро» и т.п.) ландшафт — не совсем тот, который рисует нейрофизиология. «Большая спайка» — это обширное «мозолистое тело», соединяющее мозговые полушария — до последних лет приводила физиологов прямо-таки в отчаяние. До такой степени, что кто-то полусерьезно заявил, что этот в физиологическом плане ненужный (так тогда казалось) объект только для того и служит, чтобы делать несчастными ученых. Попытки сблизить экспериментально открываемые функциональную структуру мозга со структурой анатомической вели к некоему «метанию туда и сюда»: сначала предполагали, что у каждой функции в мозгу есть отдельный центр, обособленный анатомически, потом — что никаких таких неизменных центров в мозгу нет. Теперь в этом вопросе выработано компромиссное, но тоже далеко не окончательное согласие. Если говорить

¹ Остеология — отдел анатомии, учение о костях. Миология — отдел анатомии, посвященный изучению мышечной системы. Спланхнология — отдел анатомии; учение о внутренних органах. — *Примеч. ред.*

о структуре литературного произведения, то ни к какому хотя бы предварительному равновесию не привели протекавшие в те же годы споры о ее «локальности» или «нелокальности», о том, есть ли у литературного произведения своя «функциональная» структура, отличная от «анатомической». И пусть для литературоведов это будет не очень-то действенное утешение, но все же им полезно помнить о том, что с такими же трудностями, как они, или со сходными сталкиваются и другие. А еще больше оптимизма добавит знание о том, что от некоторых излишне резких противопоставлений можно освободиться. Коль скоро это удалось исследователям организма, то, может быть, удастся и другим, в том числе в области теории литературы.

Видимо, с изучением литературы дело обстоит подобно тому, как с изучением организмов, но только гораздо хуже, потому что эмпирически в литературном произведении никакой фундаментальной структуры мы не выделим, никакими скальпелями не откроем в нем «слоев». У него есть свое прекрасно видимое «гистологическое строение»: строки печатных букв или их полностью зафиксированный на страницах книги порядок, навеки незыблемый и недвижимый. И вместе с тем литературное произведение представляет собой объект странный, потому что любой его анализ неокончателен и не может устранить чего-то неуловимого и неопределимого. Человек может приступить к его исследованию в простоте сердца и с любознательной душой, думая, что литературное творение — это какая-то обычная вещь, наподобие бабушкиных сказок, только записанных. Такой человек не будет готов к каверзным теоретическим проблемам, которые создаются этими бабушкиными сказками в маргинальных областях онтологии. Он попадет в ловушку логических парадоксов и антиномий, его собьют с толку тысячи загадок, его будет крутить по бездорожьям проблемы «формы» и «содержания», его ужаснут безбрежные просторы виртуальности значений и прочие бесконечности. Они его, нашего искателя истины, вконец лишат мужества, здоровья, жажды знаний. В конце концов даже в какой-нибудь сказке о Ясе и Малгосе он будет видеть нечто такое, что можно полностью изучить только за бесконечное время, усвоив предварительно теорию культурогенеза и мифогенеза, структурную лингвистику; теорию семантических структур вообще и теорию общественных структур

как ее частный случай; сравнительную антропологию, этнографию — а наряду со всем этим еще и теорию информации, организации... ну да это все уже было перечислено в начале предисловия.

В подобной ситуации спасти может только полная выдержка. Проблематику, которая грозит теоретическим потопом, надо «облегчить» так, чтобы ее отдельные аспекты обычным образом попали каждый в свой «конверт», адресованный к соответствующей дисциплине. Пусть они там и остаются, а мы останемся один на один уже только с Ясем и Малгосей, к которым добавлены вопросы стиля, специфики рассказчика и его повествования, вопросы эстетики и лексики. А с этими проблемами нам, вероятно, удастся справиться благодаря тому, что мы заранее уже вынесли за скобки все онтологические и эпистемологические бездны. В конечном счете именно так поступают в каждой научной дисциплине. Если хотите знать химический состав кости, спрашивайте химика, а не анатома. Если же вас интересует, как колеблются в ней атомы, то здесь компетентным специалистом окажется теоретик физики твердого тела.

Однако применительно к литературному произведению этот хорошо апробированный подход сталкивается с двумя неприятными трудностями. Прежде всего тот, к кому мы обратимся с соответствующим вопросом, не всегда захочет заниматься литературой, по крайней мере в таком специальном плане. Пусть мы готовы подарить социологу обширное поле для применения статистической теории от этого подарка, если он совсем к нему не стремится? Теперь возьмем философа: он-то, может быть, и захочет исследовать художественное произведение, однако займется этим по-своему. Мы позже еще будем исследовать, что собственно в философской теории отражает свойства художественного произведения, а что характеризует взгляды самого философа. Но кто видел, чтобы философ помог физику, анатому, механику или эволюционисту в самом процессе построения их теории, в плане данной *специальной* дисциплины? Такова первая трудность.

Вторая возникает тогда, когда начинают приходить ответы на письма, разосланные нами с запросами к специалистам. Выясняется, что с помощью своих рациональных предпосылок мы, конечно, в целом освободились от всяких гордиевых узлов данной про-

блематики, но с обратной почтой получаем результаты не очень-то подходящие. Мы сами отказались от собственных критериев, и в результате почва, на которой мы стоим, представляет собой сплошные заплатки, взятые у ученых доброжелателей, которые успели прийти нам на помощь. Социолог, все-таки заинтересовавшийся художественным произведением, пишет нам, что нет «произведения» как такового, но в каждом отдельном случае их (произведений) столько, сколько есть культурно гомогенных групп читателей. Каждая из этих групп своим восприятием стабилизирует произведение. Философ тоже подумал над этим вопросом и уже знает, что произведение, собственно говоря, одно и вечно остается только одним, а если кому-нибудь кажется иначе, то он ошибается. Ибо любое новое прочтение текста вообще не есть произведение. И вот мы должны с дрожью ожидать дальнейших визитов почтальона с дополнительными разъяснениями соответствующих специалистов.

Кому же мы должны верить? Где искать высшего арбитра для наших решений? Впервые здесь приходит крамольная мысль, навязание: как хорошо было бы исследовать все эти проблемы и добиться их решения — своими силами! Почему анатом не шлет своих скелетов физикам, механикам, инженерам, а изучает эти скелеты сам — а мы должны расчленять произведение на столько «кусков», сколько есть ученых профессий? Или в конце концов — о великий Боже! — мы сами уже знаем ответ на то, о чем спрашиваем, — на то, о чем говорится в наших письмах? Не тождественно ли то, что один литературовед назвал «схемой», тому, что другие окрестили «структурой»?

Очевидно, что стремление провозгласить познавательную автаркию вытекает не из самоуверенности или убеждения в обладании высшей истиной, а напротив, из понимания того, что если мы заранее дадим обет повиноваться только рассудку, это приведет в конечном счете к смятению и безумию.

Далее встает вопрос о структурной организации тематики независимых друг от друга трудов. Но как приняться за такую работу? По алфавиту, начиная от «А»: «Анатомия художественного произведения», «Антропология художественного произведения» и т.д.? Нет, так нельзя, это слишком абсурдно. Необходимо помещать художественное произведение в терминологическое

и методологическое пространство то одной, то другой науки: сначала его взять как предмет логического анализа, затем — культурологического, затем информационного, лингвистического, эпистемологического, генетического, в конце концов также и физического (это уже на всякий случай и для полноты).

Однако что же при этом получится? Окажется — уже в рамках той или иной из данных дисциплин, — что неизвестно, с чего начинать. Допустим, сказка о Ясе и Малгосе — культурный продукт. Тогда надо ее рассматривать в рамках культуры. Но откуда начинать такое рассмотрение? Не от той ли обезьяны, которая первой слезла с дерева? Нет, это несерьезно. А если речь идет о сказке как языковом продукте, то существенно, какими значениями в ней обладают предложения и слова. Но никакой теории лингвистической или информационной семантики не существует. Неужели мы обязаны на скорую руку создать то, чего лингвистам с информатиками не удалось сделать вот уже за столько времени?

Однако все же мы, как уже было сказано, не работаем на пустом месте. У нас были выдающиеся и знаменитые предшественники. Наш скептицизм относится не к ним. Нет, он представляет собой предписание сомневаться во всем и как таковое написан на знамени науки. Когда мы поднимаемся на головокружительную высоту здания критического литературоведения, мы встречаем там ученых специалистов, рассуждающих о «семантической структуре произведения». Когда мы их спрашиваем, как точно определить те или иные понятия семантики, они бывают недовольны, что мы с такой наивностью прерываем их беседу, и мановением руки отсылают нас на низшие этажи: к лингвистам.

Но мы там уже побывали. Или, по правде сказать, не совсем там, потому что непосредственно под этой головокружительной высотой никаких низших этажей нет: лингвисты сидят где-то совсем в другом месте и изучают в языке нечто совсем другое, ибо чуждое семантике. Опасаясь резкой отповеди, мы все же робко спрашиваем, имеет ли та «структура», о которой так часто говорено, происхождение чисто логическое или же скорее теоретико-информационное: т.е. детерминистична ли она или, может быть, стохастична? И каково ее отношение к тому, что писал Бурбаки? А к тому, что писал Бар-Хиллель в связи с трудностями построения самого понятия семантики?

Однако тогда уже никто с нами и говорить не хочет. Мы остаемся одни, и нам уже начинает казаться, что теорию литературного произведения нам придется строить старым методом Робинзона Крузо при постоянной угрозе быть потопленными. Но по крайней мере зная, что если погибнем, то от собственной руки, а не затянутые в омут балластом неясных терминов. И в такой беде нам будет сопутствовать укрепляющая мысль, что если никто нас от заблуждений не спас, то никто и не толкал в их бездну. Проблема оказалась молохом. Лучше всего, то есть самое согласное с рассудком, было бы от нее сбежать. Однако разве рассудок не для того как раз и предназначен, чтобы зондировать им глубины?

Из таких более или менее рассуждений и родилось решение написать данную книгу. Но прежде всего из них хотя бы на мгновение всплывает необходимость написать очерк под названием «Теория невозможности теории литературного произведения». Вместе с тем они открывают возможность бесчисленных отступлений и экскурсов в различных направлениях, для которых литературное произведение — своего рода стартовая площадка. В книге таких экскурсов будет очень много. Но отсюда никоим образом не следует, что надо было бы здесь, в предисловии, их в какой-то мере пересказывать. Ведь я не рассчитываю на таких читателей, которых отпугнет уже само предисловие. Но все же скажу еще несколько слов о том, чем эта книга должна была стать, но не стала.

Мне мечталось о таком экспериментальном методе, который бы не только вскрывал строение данного литературного произведения, но еще и внедрялся в самый его «организм» активным входением и вмешательством, пусть даже его искажая — чтобы выявить сопротивляемость текста или его «целостные реакции» на такое вмешательство. Поскольку как раз в эмпирии таким методом раскрываются присутствие или качественные характеристики самых разнообразных структур, кое-что из концепции такого экспериментального метода в книге осталось. Было у меня, кроме того, намерение создать специальные «препараты» — как бы искусственные «микрпроизведения», сознательно ориентированные на проверку того или иного утверждения теории. Это можно было бы назвать также методом «отъединенного выращивания», «изолиро-

ванного органа» или «уменьшенной модели». Ведь «нормальное» литературное произведение пишется не для того, чтобы на нем можно было исследовать тонкость теории — подобно тому, как лягушка сама по себе не для того существует, чтобы на ней можно было проверять теорию рефлексов. Но поскольку можно для такой проверки сделать препарат из лягушачьих лапок, поскольку можно и сконструировать «упрощенную модель лягушки», то подобным образом я хотел действовать и в нашей исследовательской области. Однако позже я догадался, что не все такого рода «микропроизведения» мне придется придумывать: ведь в качестве «препаратов» мне могут послужить и мои собственные нетеоретические книжки. Так, например, для исследования семиотической проблемы «знаковой ситуации» — сигнализации значений объектами — был пригоден целый ряд сцен из «Рукописи, найденной в ванне». Ибо герой этой книги считает, что Кто-то — некая высшая инстанция — сигнализирует ему об определенных тайнах бородавками определенного достопочтенного старца. На примере той же книги можно продемонстрировать и много других моментов из области «семантических структур».

Одно из утверждений, отстаиваемых в данной книге, — это тезис о тесной связи значения как семантической ценности со значением как ценностью аксиологической. Таким образом, в ходе анализа моих собственных текстов выявляется их «семантическая избыточность», что неопровержимо доказывает их ценностный в определенном смысле характер. На следующей же странице после этого доказательства я написал бы о Фолкнере или о Томасе Манне. Доброе соседство! Конечно, это мысль — написать пяти-сотстраничную теорию литературного произведения специально для того, чтобы с ее помощью вознести свои собственные сочинения на литературный Олимп. Однако поскольку мои цели были другие, пришлось проститься с этим замыслом. Также и создание «синтетических произведений» с целью монтировать их с настоящими стало выглядеть в моих глазах подозрительным. В итоге я отказался от всего проекта.

Особые трудности возникли в связи с теорией измерения, на которой основана вся эмпирия. Речь шла о ее эквиваленте для литературоведения. В книге я много раз ссылаюсь на закономерности статистического и стохастического типа: не только в сфере

явлений с отчетливым обособлением их компонентов, но и применительно к теории культуры и литературного произведения. Звучат эти ссылки несколько голословно, потому что статистические методы еще не стали привычными на высших этажах литературоведческого здания. Не оценена, далее, и их доказательная ценность в эмпирическом смысле, для изучения нестабильных систем. Если очень упростить вопрос, речь идет о следующем. Например, если все говорят «афера», а один какой-то человек вместо этого скажет «афёра», то это речевая ошибка. Если так скажут тысяча человек, такое произношение все равно останется ошибкой. Но если в течение десятилетий так будут говорить миллионы людей, а «афера» будут говорить только сто языковедов, то тут уже ничего не поделаешь: ошибка стала нормой языка, язык продвинулся на шаг дальше, а языковеды остались на устарелых позициях. При этом только статистическое исследование (из той области теории измерений, которая таким исследованием занимается) может разумно ответить на вопрос о репрезентативности различных в количественном отношении групп, в отношении перехода отклонения в закономерность и т.д. А этот вопрос связан с теорией математического ожидания и с теорией вероятностей. Далее он перерастает в проблемы стохастичности, марковских процессов, эргодичности — в проблему маргинальных разложений в вероятностных системах и т.п. Все это чрезвычайно тесно связано с теорией литературного произведения, той самой, о которой и говорится в книге. Однако вводить в нее соответствующие вычисления означало бы расширить ее до крайности. С подобными трудностями я сталкивался уже давно, при написании «Суммы». Несколько неохотно должен был я отложить утверждения догматического типа. Во всех таких вопросах, как связанных с теорией измерения и близких к ней (пробабилистских), я должен, к сожалению, отослать читателя к другим работам.

Но и так уже книга выглядит как гидра с множеством голов, из поочередного перечисления которых видно, что тут есть голова (глава) по информатике — значительных размеров, есть голова лингвистическая, есть маленькие логические главки и ряд более мелких. Мне представляется, что все они связаны друг с другом единым тематическим телом и потому ни одна из них не является лишней. Однако — хотя в этом можно усомниться, глядя на назва-